

Из архива

Неугасающая память

Едва отметив своё 60-летие, он умер осенью 1973-го.

Спустя два года после смерти Бориса Александровича Ручьёва был открыт мемориальный музей в квартире, где поэт прожил последние тринадцать лет. И до

сей поры музей-квартира Бориса Ручьёва остаётся единственным литературным музеем на Южном Урале.

Со временем интерес к поэзии и судьбе Бориса Ручьёва не угасает. К сожалению, не все факты его

биографии изучены и осмыслены до конца. Особенно много «белых пятен» в колымском периоде жизни поэта...

Предлагаемая читателям «ММ» повесть журналиста и прозаика Николая Худовекова, написанная

по рассказам Бориса Александровича, публикуется впервые. Рукопись этой повести передали в музей члены литературной студии «Зелёная лампа» из Белорецка, которой руководил поэт и педагог Алексей Новиков. На титульном листе написано рукой автора: «75-летию уральского поэта Бориса Ручьёва посвящаю».

Долгие годы повесть хранилась у вдовы журналиста, поэтессы

Нины Зиминой, которая и попросила юных краеведов передать рукопись в наш музей. Надпись, сделанная Ниной Зиминой, гласит: «В дар музею Б. А. Ручьёва, первоначальный вариант. В основу повести легли воспоминания поэта, переданные автору во время личных бесед».

Наталья Троицкая,
старший научный сотрудник
музея-квартиры Б. Ручьёва



Борис Ручьёв на Колыме, 1948 год.



Борис Ручьёв, Н. Колышева и Е. Колышев, 1932 год



Борис Ручьёв за работой

Первая публикация

Николай Худовеков

Весенний ветер Эмтэгей

Тайга и самолёт... Из тайги его не разглядишь в вышине. А в иллюминаторах самолёта лишь голубая окрестность и чёрная, в белых пятнах, земля. Тайга тоже неразличима. И всё-таки самолёт и тайга, незримо друг для друга, живут вместе...

Бортпроводница, проходя по длинному салону, говорит механическим голосом, словно бы и не обращаясь к пассажирам:

– Не принимают нас, погода плохая, пристегнитесь к креслам.

Один из сидящих, молодой, тихонок толкает под руку соседа:

– Слышали, Борис Александрович? Опоздаем на поэтический семинар.

– Да ну, в самом деле? – отзывается тот из полусна и поворачивается к бортпроводнице, которая как раз проходит мимо них. – Что там такое?

– Эмтэгей задул, – разъясняет она. – Тут, на Дальнем Востоке, бывает, может, слышали?

Проходит, довольная своими познаниями. А пассажир задумчиво глядит перед собой. Это человек лет пятидесяти, с болезненно-одутловатым лицом, но с глазами – голубыми, светлыми, задиристыми. Такие же глаза, как у того молодого, тридцатилетнего, каким он часто вспоминает и видит себя теперь в этом полёте над тайгой.

Сейчас весна 1965 года...

– Что за дальневосточный сюрприз? – бесцеремонно тормошит его сосед. Борис Александрович не отвечает.

Самолёт снижается. Теперь он и тайга видят друг друга. Она закрыла голубой свет в иллюминаторе, а в память Борису Александровичу пришли давным-давно сочинённые им стихи:

*Ой, стоят леса сыр-дремучие,
Выше лёту стоят вороньего,
Ниже лёту стоят орлиного...*

И другое сразу вспоминается.

Повальный огонь, дым на десятки километров вокруг по этой самой тайге... Молодой парень в ватнике, среди таких же, как он, окружённых огнём, что-то крича, лопатой яростно бросает снег в пламя. Выхода нет: водоворот огненной бури вместе с тайгой затянул уже и людей. Парень остался жить. Память крутит колесо прошлого.

Огненный вихрь сменяется снежным бураном, ревушим в полной темноте. Только временами выглядывает луна... Среди стихии совсем маленькой и беззащитной выглядит избушка в снегу, больше похожая на землянку. Её не разглядишь, пока не окажешься рядом, потому что в окнах – ни огонька.

Память заводит внутрь этого человеческого жилья, и видно, что оно не такое уж маленькое, а обставлено даже с претензией на роскошь, довольно своеобразную. Мягкие ковры из специально подобранных – с «выдержанной» расцветкой – шкур зверей. Ни стульев, ни лавок, а несколько изящных маленьких кресел, очевидно, самодельных. Словом, чувствуется, что живущие здесь люди ценят уют и умеют его для себя создать даже среди дремучей тайги.

Молоденькая женщина в вязаном халате при неровном свете жирового светильника с беспокойством глядит в оконце, приподняв глухую синюю штору, которая совсем не вяжется с остальной обстановкой.

Тяжело вваливается в избушку человек, одетый по-охотничьи. На спине у него другой, тот в ватной фуфайке, таких же брюках, больших ботинках с обмотками и завязанной ушанке «свиньячьего меха». А первый – бородат, выглядит давнишним коренным обитателем тайги...

Сейчас Борис Александрович вдруг вспомнил, что так и не узнал имя этого спасшего его человека, называл его Стариком, и тому нравилось.

...Женщина бросается навстречу: – Боже ж мой, ещё немножко, я бы с ума сошла. Понять ты не можешь, как я ж совсем одна, ежели что.

Зажигает светильник, останавли-

вается перед человеком, которого Старик опустил на шкуры.

– Я, наверное, все-таки с ума сойду. Что это?

– Не видишь, гость к нам. Отогреть его надо, заколел.

– Ты что... – в голосе женщины дрожь.

– Отогреть, говорю, надоть, не зря ж я его... Чтобы отошёл да не на тот свет. А мне хвоянки налей, – Старик грузно двинулся в кресло. – Ну, задуло, опять сугробы, и он в сугробе. А казалось, вот она, весна. Май ведь, чать. С гор потянуло. Эмтэгей, значит, пробуждается. Дух такой горный, Эмтэгей, я тебе рассказывал. В горах спит, однажды за десять лет, аккуратно в весну, пробуждается. Ну, ты тоже застыла, стоишь? От людей вовсе поотвыкла? Хвоянки, прошу, налей. Говорят, Эмтэгей пробуждается – к перемене жизни.

Женщина смотрит на него в упор, говорит срывающимся голосом:

– Ты жизнь решил поменять?

– С кой поры я тебе отчёт даю? – Старик сдвинул брови.

– Да на что он тебе? Что я с ним делать буду?

– Что хочешь. Хоть своим теплом отогревай, сама с ним в постель увались, только чтобы жил. А то и ты жить не будешь. Совет не даст... Эх, курнуть бы! Дьявол, забыл, что бумаги нет. Поищи, может, у него где, я уже раз попользовался.

Она подошла к «гостю», тот, застонав, приподнялся. Жалость к попавшему в беду человеку взяла верх над тревожным недоумением.

– Кто ты? – спросила она, видя, что «гость» открыл глаза.

– Борис, – шевелит губами. – А тебя как?

– Алёна я.

– Алёнушка... Ой, стоят леса, сыр-дремучие...

– Что ты говоришь?

– Как медведь пойдёт – ёлка сломится... А пойдёт лиса-земляничница...

– Чего он там зашептался? – Старик встал, подошёл. – Жив, стало быть, парень? Чего глядишь, удивляешься, куда попал? Здесь ещё

не рай. А немного – и проснулся бы в раю. Да, видать, снегом тебя засыпало-укрыло, и не замёрз. Я сам так однажды... Не ждал, небось, Эмтэгея, когда в тайгу дёру давал? А откуда бежал? Здесь и лагерей близко нет и не было. Не то с Малой Чухли? Встать можешь?

Старик, не дожидаясь ответа, разминает плечи, неторопливо снимает верхнюю одежду. Борис – ему лет под тридцать, худой, выросший – с трудом встаёт, но тут же сваливается. Старик успевает подержать его, вталкивает в кресло, поворачивается к Алёне:

– Нет, он не заколел, от голода, значит, силы потерял. Неси хлеба с салом, заварки горячей. Да повертывайся, ну!

Алёна, резко мотнув головой, вышла. Старик расстегнул у Бориса ватник, тот очнулся:

– Слушай, Старик... Где я?

– Ох-хо-хо, – отвечает Старик, – сразу и «где». А куда собирался?

– На... станцию.

– Ловок. Думал к поезду прицепиться и укатить? Ну, здесь проводники народ дошлый. В грудки толк – и под колеса, чего с вашим братом церемониться? Однако ж ты громадный круг дал. До станции отсюда знаешь, сколь добираться? С Малой Чухли?

– Какая Чухля? С Полюса я.

– Это ты другому трепись, не мне.

– С Полюса я, – повторяет Борис. – Посёлок так называется. Я там в больнице фельдшером.

– Ты это голодный от своего Полюса пятьдесят верст протопал?

– Кило хлеба на дорогу собрали... – он теперь сам начинает возиться руками в своей фуфайке.

– Ты хлеб, что ли, ищешь? Никакого хлеба у тебя не было. Потерпи, Алёна сейчас принесёт.

– Не... Бумажка тут была, командировочная.

– Какая?

– Командировочная... На станцию.

– Лежало в пришитом кармане что-то, я сигарку скрутил.

– Как же... – оторопело озирается Борис.

– А чего, на станции без твоей командировочной билет в Москву не продадут? Ну, всё равно, теперь

когда ещё на станции будешь. А пока давай ту бумагу, что осталась, я слышал, шуршало у тебя. Давай, давай, я больше месяца не закуривал, все бумаги нет.

– То нельзя, – Борис непослушными пальцами застегивает телогрейку.

– Чего? Нельзя? А обратно в сугроб на всю жизнь можно?

– Нельзя, это последнее письмо, – говорит Борис. – Я его в подкладку зашил.

– Ну, распорем, пороть – не шить. Мигом.

– Это последнее письмо, – повторяет Борис. – От Совгавани на Колыму плыли. Махорка была, бумаги ни у кого не было, только письма у меня старые. Мы их на раскрутку, докурились вот до этого... Последнего. Я его не дал.

– И тебя не придушили потёмному? Слободное дело. Когда нас везли... От кого хоть письмо? От девки, бабы? Давно прислала?

– Семь лет назад.

– Давно же ты здесь...

– С тридцать седьмого. На руднике работал, на лесоповале, пожар был, горел. В больнице отлежался. Теперь сюда, на Полюс перевели фельдшером.

– Да знаю я Полюс, там бывшие эски живут в ссылке. А на станцию чего тебя понесло? Коли сбежал, там делать не хрена, аккуратно сцапают. Или треплешься про станцию? Мне – только правду баять.

– Старик, а ты, может быть... – Борис внимательно в него всматривается. – Может быть, слышал: верно, что война кончилась?

– Какая ещё война?

– С немцами, с Гитлером.

– Хрен её знает. А на что тебе война?

– Слух у нас был, война кончилась, Гитлера убили, победу праздновали. А у нас на Полюсе ни радио, ни газет. Ближе всего радио – на станции. Вот, послали меня.

– За пятьдесят верст, пёхом?

– Так победа же...

– Тебе-то она здесь на кой, та победа?..

Останавливается, видя, что Борис, полулёжа в удобном кресле, снова впал в забытие.

Продолжение следует